

Михаил Николаевич Волконский

Забытые хоромы

Москва
Книга по Требованию

УДК 82-311.6
ББК 84-4

Михаил Николаевич Волконский

Забытые хоромы / Михаил Николаевич Волконский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 96 с.

ISBN 978-5-4241-2646-8

Исторические события, описываемые в романе «Забытые хоромы», разворачиваются через два года после восшествия на престол Екатерины II., Два друга - офицеры Чагин и Лысков - исполняют особое поручение российского двора, связанное с перехватом секретной почты, отправленной польским посланником в Россию к правительству Станислава Понятовского, и втягиваются в водоворот невероятных приключений., Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-4241-2646-8

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011
© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Михаил Николаевич
Волконский
Забытые хоромы

Мундир

Молодой князь Чагин, рассматривая свой парадный сержантский мундир, который держал перед ним, вытянув руку, старый Захарыч, проговорил: «Нет, положительно не годится».

— Да отчего же не годится? — переспросил тот. — Мундир как мундир — в прошлом где только сделали.

Мундир был сделан, действительно, в прошлом году, когда с возвращением государыни Екатерины II после коронации в Петербург, вследствие состоявшихся в гвардии повышений, многие были переведены туда из армии и в их числе князь Чагин. Но в этом мундире он отбыл все прошлогодние смотры и парады, и мундир потерял свой щегольской, безупречный вид «с иголочки». Чагин еще раз внимательно оглядел швы, галун и пуговицы.

— Пуговицы можно почистить, — заметил Захарыч.

— Нет, все-таки не годится, — повторил Чагин, — только на дежурства надевать, а больше никуда. Ведь ты пойми: так он хороши?

— Хорош, — согласился Захарыч.

— Ну, а как я стану в нем рядом с другим, с новым — он никуда и не будет годиться... да еще на балу, где освещение полное!.. Куда же надеть?.. нет... нельзя.

Захарыч, казалось, убедился этим доводом и, молча, с некоторым уже сомнением посмотрев на мундир, тряхнул его, после чего воскликнул:

— Да что вы там потеряли на этом балу-то, ваше сиятельство? Нешто не будет еще балов?.. Дайте срок — пришлют батюшка деньги, тогда новый мундир постройте, и дело с концом.

И решив, что его рассуждение вполне основательно, Захарыч свернулся старый, признанный негодным, мундир и стал укладывать его в большой комод, где хранился гардероб сержанта.

Чагин был переведен в гвардию из армии, как один из бравых, видных молодых людей и, главное, самых состоятельных среди своих армейских товарищей. Но содержание, которое ему высыпал отец из деревни, более чем достаточное в провинции, оказалось весьма незначительным в столице, где велась и требовалась совсем другая жизнь. Однако старый князь не хотел увеличивать выдаваемую сыну сумму и объявил ему, что до производства в офицерский чин пусть он обирается этими деньгами, а когда будет произведен, тогда, мол, пойдет другой разговор.

Между тем дальнейшего производства трудно было ожидать в скромом времени. По спискам Чагин, как один из младших, стоял далеко, и очередь до него должна была дойти еще не скоро. На отличие надеяться тоже было нельзя, потому что время отличий и внезапных быстрых повышений только что миновало. К тому же такое время выдается не часто, и именно потому, что оно выдалось так недавно, ясно было, что теперь более, чем когда-нибудь, наступит застой. Государыня успела уже выказать себя мудрой правительницей, считавшей необходимым обеспечение мира для устройства внутренних дел, и войны, по-видимому, еще долго не должно было быть.

Два года тому назад, в июне месяце, произошли те счастливые, из ряда вон выходящие обстоятельства, когда выделилось столько гвардейцев: государыня

Екатерина II взошла на престол; многие получили при этом повышения и отличия, и теперь все места были заняты недавно произведенными новыми людьми, еще довольноими своим положением, и не мечтающими пока о высшем. Значит, движения не предвиделось. Молодой Чагин опоздал со своим переводом в гвардию. Будь то два года тому назад, он получил бы уже офицерский чин.

А сколько надежд, сколько мечтаний было связано для Чагина с этим чином! Тут не обещание отца, не деньги стояли на первом месте. Дело шло о гораздо более существенном, милом, дорогом и заветном.

До сих пор все улыбалось в жизни Чагина, и главным образом потому, что то, что составляло для него теперь высшую радость счастья, весь, как он думал, смысл жизни, было у него. Те мелкие неприятности, которые приходилось переносить, когда не хватало денег, были чувствительны, только пока не проходили и, миновав, становились незаметными. Они легко забывались; и деньги все-таки были, хотя й не в той мере, как надоно, но были и позволяли жить беззаботно.

И Чагин торопился жить – торопился потому, что счастливые дни, которые он переживал, несомненно, служили началом еще более счастливого времени, когда он наконец будет произведен в офицеры и начнет настоящую жизнь.

Эта настоящая жизнь заключалась в женитьбе на давно любимой, с детства знакомой и близкой Соне Арсеньевой. Они детыми играли вместе в Москве, где проводили зиму, и впоследствии дороги их разошлись.

Теперь Соня была уже девушка девятнадцати лет, воображавшая, что она – совсем невеста. В прошлом году вместе с двором привезла ее в Петербург тетка, важная барыня, у которой не было детей и которая, полюбив хорошеньюю племянницу, стала заниматься ею и вывозить в свет.

Став светской барышней, Соня встретила Чагина, и он, сначала боявшийся за свое счастье, скоро увидел, что бояться ему нечего, что они по-прежнему любили, знали и понимали друг друга. Но «сержант» неловко было делать предложение, приходилось ждать и торопиться как можно скорее прожить эти годы влюблённости, молодости и ожидания.

Чагин не мог еще узнать по опыту, что именно эти годы, которые, как ему хотелось, должны были бы протечь возможно скорее, в сущности, представляли собой самые счастливые, невозвратные годы человеческой жизни. Ему почему-то казалось, что с наступлением страстно ожидаемой настоящей жизни не только заботы не увеличатся, но их вовсе не будет, и начнется бесконечный период непрерывного счастья. Тогда уже никаких задержек ни в чем не окажется: ни в поношенном мундире, ни в деньгах – словом, ни в чем, ни в чем.

«А все-таки мундир не годится, – мысленно уже с отчаянием повторял Чагин, зашагав по комнате и косясь на возившегося у комода Захарыча. – Легко ему говорить, – продолжал он думать, – не ехать... Да разве можно не ехать, разве это мыслимо? Но ведь так не поедешь, а другого мундира нет, да и достать денег на него неоткуда!»

И вдруг Чагину стало чрезвычайно жаль себя. В самом деле, положение было почти безвыходное: казалось, лучше умереть, чем не ехать на бал, и вместе с тем было тоже лучше умереть, чем ехать, потому что приходилось надевать мундир, который никак нельзя было надеть.

В первую минуту жалости к себе Чагину захотелось «все» рассказать Захарычу: и почему он непременно должен ехать на бал, и почему ему так тяжело не

сделать этого, и главное, чтобы не подумал Захарыч, что ему хочется просто потанцевать, как какому-нибудь молокососу.

Но этот прилив жалости сейчас же пропал, и его сменила бешеная злоба и на себя, и на других.

«И с чего выдумали в сентябре балы назначать! – злобно стиснув зубы, продолжал опять Чагин свои размышления, – подождать не могли!.. Нужно очень... И как это все у меня было хорошо рассчитано!»

У него, действительно, все «очень хорошо было рассчитано», то есть ему казалось это так, потому что он решил заказать себе новый мундир с первым же получением денег от отца, вполне уверенный, что поспеет к началу сезона. Однако оказалось, что петербургское общество, со смерти императрицы Елизаветы не веселившееся, торопилось воспользоваться временем, следуя примеру вдруг ставшего блестящим двора молодой красавицы-государыни. Первый заметный бал был назначен уже в сентябре. На этом балу (Чагин знал это) будет Арсеньева, значит, во что бы то ни стало и ему нужно было быть там.

И вот, не находя выхода из своего «отчаянного» положения, Чагин схватил трость, шляпу и, накинув плащ, вышел на улицу.

У крыльца его ждал постоянный извозчик, которому он был уже порядочно должен, вследствие чего считал своей обязанностью ездить с ним каждый день и больше, чем это ему было нужно.

– Пошел к Лыскову! – приказал он извозчику, усаживаясь на его почему-то считавшийся удобным в то время калибер.¹

Лысков

Лысков, подпоручик того же полка, в котором служил теперь Чагин, был по отношению к юноше, переведенному из армии, чем-то вроде покровителя, друга и приятеля.

Чагин сошелся с ним более, чем с другими, именно потому, что их характеры оказались совершенно различны. Живой от природы, впечатлительный, вспыльчивый и благодаря своей молодости легко увлекающийся, Чагин очень скоро привязался к старшему по годам, невозмутимо спокойному Лыскову, и между ними установилась та неравная, но именно вследствие своей неравности твердая дружба, при которой один позволяет питать к себе преданность, а другой – ищет предмета для выражения этой преданности. Лысков стал для Чагина чем-то высшим, образцом для подражания, и тот, в свою очередь чувствуя симпатию к молодому, добруму, порядочному малому, опекал его, где нужно, и руководил по возможности в новой для Чагина гвардейской столичной жизни.

Лысков лежал у себя на кровати, закинув за голову руки, без камзола, в одной рубашке и мрачно, сосредоточенно смотрел в потолок, когда явился к нему Чагин.

Тот, уже отлично знавший привычки и обычай своего друга, сейчас же понял, что это значило.

При его приходе Лысков нахмурился, но Чагин и это знал, и знал, что, в сущности, его друг и ментор очень доволен его приходу. Только нужно было оставить его в покое, и он сам заговорит.

И Чагин, молча поздоровавшись, как давно привычный человек, положил шляпу и трость, достал в углу трубку, закурил ее в печке и сел у окна, поджав ногу. Положение его усложнялось. Лысков, видимо, находился сам в крайне неприятных обстоятельствах, при которых трудно было ждать от него помощи.

«Скверно, скверно! – повторял себе Чагин, пуская большие клубы дыма. – И чего я пришел сюда?»

Но уйти ему не хотелось, потому что во всяком другом месте ему было бы еще хуже.

Лысков в это время скинул ноги с кровати, прошел тоже к углу с трубками, закурил и стал ходить по комнате.

– Это ни на что не похоже! – вдруг обернулся он к Чагину.

– А что? Опять проиграл? – спросил тот.

– Нет, ты представь себе, этакое счастье... ни одного удара... то есть ни одного хорошего удара... Как на зло словно – маленькую даст, большую бьет, маленькую даст, большую бьет... И так весь вечер!..

– Где же это ты? У Дрезденши?

– Нет, этак не везти, я тебя спрашиваю! – вскинув плечами, снова подхватил Лысков, не обращая внимания на вопрос. – Этого со мной никогда не бывало, и, как нарочно, совсем незнакомый...

Чагин поднял брови.

– Кто же такой?

– Поляк какой-то, Демановский, Депановский, что-то в этом роде.

– Невысокого роста, черноглазый? Это – Демпоновский, я его видел у Дрезденши. Он, говорят, в свите Ржевутского приехал.

— Какого Ржевутского?

— Нового посла польского, которого Понятовский прислал, — пояснил Чагин. — Теперь поляки в моде, их всюду зовут... И у Трубецкого на балу они будут...

О приезде Ржевутского Лысков, разумеется, слышал, но забыл о нем, его теперь не интересовали ни бал Трубецкого, ни польское посольство.

— Говорят, много народа будет, — продолжал Чагин, думавший все еще о своем. — И что за охота в сентябре балы назначать!

Лысков снова не ответил; он продолжал мрачно ходить, усиленно затягиваясь, причем переменил уже вторую трубку.

— Нужно денег доставать, — опять вдруг проговорил он. — А где их достанешь?

Чагин понял, что положение приятеля еще более скверно, чем его собственное. Он не ожидал, что в довершение неудовольствия проигрыша у Лыскова не оказалось достаточно денег для расплаты.

— Так ты еще должен остался; — с нескрываемым беспокойством спросил он.

— И прескверно должен. У меня не хватило двухсот рублей, а в кармане было шестьдесят три, пятьдесят раньше спустил... И какую рожу этот поляк скорчил, когда я ему сказал «до завтра»!.. Бррр... — и Лысков, словно от обдавшего его холода, дрогнул плечами при этом воспоминании.

Чагин, не спрашивая, понял, что деньги выигравшему сегодня посланы не были и достать их Лысков не мог.

— Скверная история! — процедил он.

— Еще бы не скверная! В таких случаях обыкновенно ничего уж не отвечают, ведь не украду же я его денег? А он мне начал читать наставление, что, дескать, пожалуйста, не задержите, потому что я скоро должен обратно ехать в Варшаву... Точно боится, что не отдам... Ужас, что такое!

— Нужно сделать что-нибудь, — согласился Чагин. — Конечно, так нельзя оставлять... Вот и мне деньги нужны...

Лысков обернулся на него.

— А тебе на что?

— Новый мундир к балу. В старом нельзя, потому что, если рядом со мной другой станет, то заметно будет, — поспешил Чагин привести довод убедивший Захарыча.

— Пустяки! — махнул рукой Лысков с видом человека, ожидавшего сначала, действительно, чего-нибудь серьезного, но вполне разубедившегося в этом.

— Как пустяки? Все-таки мне необходимо быть у Трубецких.

— Ну, пригласи портного, закажи ему, ничего не говоря, новый мундир, а когда он принесет его, назначь срок уплаты, когда появятся деньги... Портной тебе за это припишет к счету и останется очень доволен.

«В самом деле, как это просто! — подумал радостно Чагин. — Да, да, конечно, это очень просто!»

— И ты думаешь, что так можно сделать? — спросил он.

До сих пор в армии и здесь, в прошлом году, он задолжал лишь по мелочам, из которых, однако, составлялись суммы, но большие расходы делал на наличные.

Лысков, несмотря на свое расположение духа, не мог удержать улыбку от наивного вопроса Чагина. И, усмехнувшись в усы, он еще раз махнул рукой на него и медленнее заходил по комнате.

Невольная искренняя радость, осветившая теперь лицо Чагина, ставшегося,

однако, оставаться серьезным, особенно успокоительно подействовала на Лыскова.

Пройдясь еще раза два по комнате, он внезапно пришел в свое обычновенное состояние ленивого покоя и опустился на кровать, опять закинув руки за голову, но только теперь во взгляде его не было ничего мрачного.

— Так ты думаешь, устроится? — почти уже весело спросил Чагин, не столько про свое, сколько про дело приятеля.

Он знал, что при каждой неприятности Лысков обыкновенно сначала ложился на постель очень мрачный, но затем мало-помалу словно махал рукой на все, решив, что оно устроится само собой, и отлеживался до тех пор, пока, действительно, все выходило так, как ему этого хотелось. И обычно всегда все устраивалось.

— Устроится! — протянул Лысков и, вскинув ноги, поправил ими сбившийся край одеяла.

И, как ни в чем не бывало, они заговорили о предполагавшемся смотре.

Бал

Оказалось, что, к удивлению Чагина, портной не сделал никакого затруднения относительно мундира. Он принес его в срок, и молодой человек в назначенный день, разодетый, надущенный и распудренный, явился у Трубецких на балу в числе бесконечной щеголеватой толпы гостей, тесно наполнявшей анфиладу парадных освещенных комнат.

Музыка в зале играла не прерываясь, и один танец сменялся другим.

Чагину казалось, что все веселится, все радуется вокруг него, потому что самому ему было весело и радостно на душе.

Несмотря на то, что он по своему маленькому чину и скромному положению в обществе не мог слишком привлекать внимание, ему все-таки казалось, что на первом месте был не кто иной, как он, потому что та, которая была лучше всех – для него, по крайней мере, никто не мог равняться с нею, – танцевала с ним, улыбалась ему и рада была его близости. Никто, казалось, не попадал так ловко, согласно в тakt музыки, как они, и ни ему, ни ей ни с кем не было так весело танцевать, как друг с другом.

Чагин, без устали плясавший все время, вышел освежиться из зала, когда наконец наступил антракт. Беспрестанно давая дорогу другим, пятясь от длинных шлейфов дамских роб и оглядываясь, чтобы не толкнуть кого-нибудь, он старался выбраться из этой толпы, чтобы вздохнуть, оправиться и снова искать свою Соню.

Чем дальше он продвигался от зала по ряду роскошно убранных комнат, тем реже становилась толпа в них и тем свободнее дышалось, хотя и здесь жара и духота стояли нестерпимые от горевших в люстрах и бра свечей и от массы толпившегося надущенного и напомаженного народа.

Наконец Чагин мало-помалу выбрался к небольшой проходной диванной, расположенной перед кабинетом хозяина, где мужчины играли в карты. Диванная казалась пустой. Здесь воздух был свежее.

Чагин подошел к двери, стараясь незаметно для других провести платком по разгоряченному мокрому лбу. Отняв платок от глаз, он увидел в глубине диванной знакомую широкую спину Лыскова, разговаривавшего с приземистым, коренастым господином в маскарадно-красивом костюме польского офицера.

Поляк был пан Демпоновский. Чагин узнал его, удивился, зачем приехал сюда Лыков, вообще не любивший балов и почти никогда на них не бывавший, и вспомнил, что с Лыковым и с этим поляком соединено было что-то неприятное, неловкое, совсем идущее вразрез с теперешним его счастливо-радостным настроением. Ему было так хорошо, так весело теперь, он чувствовал себя любимым и сам так любил, что ему хотелось верить, что везде и всюду одна лишь любовь кругом и нигде нет никаких недоразумений и неприятностей.

И несмотря на то, что инстинктивно боясь расстроить свое внутреннее состояние радости и довольства, Чагин, по безотчетному эгоизму счастливого человека, хотел пройти мимо, но все-таки остановился, чтобы узнать, чем кончится объяснение.

«И зачем он приехал сюда? Нарываться на неприятности? – подумал он про Лыкова, с которым еще вчера в сотый раз подробно разбирал все источники,

откуда можно было достать деньги, причем они должны были прийти к грустному заключению, что достать их нельзя, – он наверное знал, что у Лыскова теперь не могло быть никоим образом двухсот рублей».

– Я вас просил, – говорил между тем пан Демпоновский, сильно жестикулируя и коверкая на русский лад польский язык, – на другой день достать пенендыз затем, что я поспешаю до вояжу, а пан и не помыслил о тэм – и малэм тэ же слово паньске и мнил то верно... а выходзье кэпска штука... Тэраз на завтра конечно должен ехать и не vem, проше пана, чи буде plata, чи не...²

По тону, которым говорил поляк, по его энергическим жестам и по закинутой слегка назад голове видно было, что он ни на минуту не поверил и теперь не верит, что ему заплатят деньги, и потому казался и хотел казаться особенно дерзким и высокомерным.

Чагин знал Лыскова. Он чувствовал, что еще немного и тот, не выходя из обычного своего спокойствия и, вероятно, совершенно неожиданно для поляка, треснет его наотмашь так, что тому не поздоровится... Выйдет неприятность еще большая.

«Господи, – мысленно повторял себе Чагин, – и отчего у меня нет этих денег, отчего я не могу швырнуть их этому пану Демпоновскому!»

И казалось, в эту минуту он уже готов был все отдать, всем пожертвовать, чтобы выручить друга из беды, чтобы избавить его от этого оскорбительного унижения выслушивать дерзкие речи поляка.

Теперь он на миг забыл, то есть не забыл, а как-то спрятал, захлопнул внутри себя свое чувство робости и всей душой принимал участие в том, что произошло на противоположном конце комнаты, и каждое слово пана Демпоновского отзывалось в нем так же болезненно, как оно должно было отзываться в Лыскове.

Последний стоял, не двигаясь, и, казалось, терпеливо ждал, пока поляк выскажет весь запас своих любезностей.

Чагину досадно было, что он не видит лица друга и поэтому не может судить, что произойдет дальше. Но подойти он боялся, чтобы не ускорить развязки.

– Пожичил пан овчину, а вышло тепло его слово!³ – закончил Демпоновский и развел руками, опустив голову.

В это время Чагин видел, как Лысков, не меняв своей спокойной позы, засунул руку в карман, медленно вытянул ее оттуда и к несказанной радости и удивлению Чагина в этой руке оказался кошелек, видимо, довольно увесистый...

Лысков, по-прежнему молча, раздвинул кольца кошелька и стал отсчитывать деньги.

Чагин вздохнул свободно.

«Ну, слава Богу! – мысленно произнес он. – Но откуда он достал их?»

Демпоновский, увидав деньги, сейчас же сконфузился, сделался как будто меньше ростом, и лицо его все съежилось в сладкую-пресладкую улыбку. Он забормотал что-то тихое, непонятное и беспрестанно повторял:

– Овшем, пане, овшем.⁴

Отсчитав, Лысков протянул деньги поляку, и слышно было, как они звякнули в его руку, потом повернулся спиной к нему и направился к двери.

Все это он проделал с таким хладнокровием, с такой величественной невозмутимостью, что Чагину казалось – хоть картину с него пиши.